

ПИСАТЕЛЬ РУССКИЙ, СЫР – ГОЛЛАНДСКИЙ

«Айне Кляйне Арифметика» литературы под редакцией Андрея Битова

Глеб Шульпяков



Андрей Битов. Новый Гулливер (Айне Кляйне Арифметика Русской Литературы). — Hermitage publishers, N.J., 1997, 210 с.

ГДЕ ЛУЧШЕ всего думалось русскому писателю о судьбах отечественной словесности? Правильно. В мягком вагоне «Москва — Берлин» за ночной рюмкой французского коньяка и голландским сыром. Судя по новой книжке Андрея Георгиевича Битова, традиция эта по-прежнему процветает: часть его заметок помечены ночными перегонами по неметчине и вечной думой о путях-перепутьях: «Отвлекаюсь в окошко; заснеженная, такая русская, земля...

Поля-я германская-я-я
Да пораскину-у-улись...»
...Книга опавшей листы Андрей Битова — книга заметок, предисловий, статей для периодики и дневниковых записей — вышла в американском издательстве, но интерес отстает, конечно же, наших belles lettres.

Герой Андрея Георгиевича как будто бликует между мизантропичностью Гулливера («Систему антигероя у нас начали раньше всех, потому что опоздали к герою») — и горестным оптимиз-

мом Робинзона. Тема литературного Робинзона заявлена с первых страниц размышлениями о «Записках из Мертвого дома»: «Героя выбрасывает в острог, как Робинзона на берег». Через Федора Михайловича — нового Робинзона — Андрей Георгиевич отправляется в свое гулливерово путешествие по страницам словесности, отыгрывая то за Гулливера — а не то за Крузо.

В стране Хармса и Зощенко, Дюма, Алешковского и, понятное дело, Пушкина Андрей Георгиевич чувствует себя как дома. В сокрушенных поисках героя он скорее на стороне французов — его апология Дюма, кажется, одно из самых небанальных и умных мест книги, оправдание высокой беллетристики всеми охоянного гурмана («Три плюс один. К 150-летию «Трех мушкетеров»). Однако симпатии его носят скорее памятный уклон — выживая из прошлого героев Дюма или Ремарка, он в конечном итоге говорит о себе эпохи туманной юности: «Походка наша изменилась, взгляд, мы обнаружили паузы в речи, учились значительно молчать, уже иначе подносили рюмку ко рту. Могли и пригубить... Подруги наши — все сплошь Патриции Хольман» («Как читали 30 лет назад». Что-то среднее между «Заставой Ильича» и пивной «Висла» на Конюшенной).

Удаляясь по направлению к Франции или Германии — или путешествуя по отечественной литературе — Битов опять же выступает в жанре путевых заметок: с той лишь разницей, что описанная им страна носит совершенно не географические имена Хармса, Баркова, Ломоносова, Зощенко, Шостаковича и Набокова.

Как и положено личным заметкам, каждый литературный факт Андрей Георгиевич переживает собственной биографией — «Когда весной 1988 года я познакомился в Нью-Йорке с Соломоном Волковым, что меня более всего занимало? А вот что: подлинны ли мемуары Шостаковича?» — или собственной физиологией: «Так нам и мяться у лжедо-

рической колонны, умея танцевать один лишь па-де-патенер, в уверенности, что у всех, кроме тебя, до колена и один ты такой, что больше трех раз не можешь» («Барак и барокко. Барков и мы»).

Поскольку в книге собраны разрозненные статьи, с той или иной долей точности можно выстроить ряд излюбленных битовских сравнений, которые бродят, как вводные конструкции, по книге, начиная с зощенковской фразы «Пусть эта книга называ-

ется в сборнике один грех: любовь автора к сырым откровениям а la russe, которые раздражают тем более, чем чаще напоминают Розанова с его «Сметанки бы...». Розанов — коллекционный экземпляр: после них причитания Битова типа «Может, от советской власти выйдет исторический прок: вот уж накопили общественный опыт! Капитал, а не опыт. Пора и обществом стать. А там и героя напишем. Посмотрим» выглядят моветоном: увольте, Андрей Георгиевич.



Коллаж Сергея Веретенникова.

ется, ну, скажем, культур-фильм» и кончая словами Александра Сергеевича о том, что первая книга в России без цензуры — ПСС Баркова.

Иными словами, как только Битов впадает в социальную озабоченность, как только старается вычислить арифметическую формулу литературы, на голове

его начинает расти колпак старого Гулливера. Когда же его текст — весь «брюссельское кружево... воздух, проколы, прогулы», как говорил о любимом Битовым Зощенко Мандельштам, получается совершенно замечательно, как в рассказе о встрече Пушкина и Дюма в сослагательном наклонении: «В Париже они бы встретились, Черные дедушки их бы подружили. Пушкин рассказывал бы Дюма скорее о Потоцком, чем о Лермонтове, и пригласил бы Дюма на Кавказ. Пушкин написал бы «Альфонс садится на коня...». Дюма переписал бы «Капитанскую дочку» в «Дочь капитана»».

«Вот, к примеру, загадка, с детства занимающая мое воображение. Почему замок — английский, горы — американские, булавка и булка — французские, а сыр и хер — голландский?» — спрашивает любознательный Битов. В самом деле — почему? И нужен ли здесь ответ, когда язык сам знает, что и как ему называть? Нужна ли здесь арифметика, с которой даже иронически Андрей Георгиевич в данной книге не справился, когда редкие формулы, попадающие в точку, тонут в хлопотах? Где Робинзонна непосредственность, свойственная новому Гулливеру?

Задавая вопросы, шивая кружево, сопоставляя легко и изящно, Андрею Георгиевичу удаются мизансцены Нового Гулливера, который внимательно прочитал «Приключения Робинзона Крузо» и понял метафизическую цену булавкам, булкам, замкам и сыру. Во всех остальных случаях автор стоит одной ногой где-то между страной лилипутов и великанов, пытаясь оценить рост и тех и других с точки зрения европейца. Получается пресно: ни арифметики, ни воздуха. Надо думать, что к переизданию книги в «Издательстве Независимая газета» это качество исчезнет. В конце концов «Новый Гулливер» — это не тот, кто надевает на глаза черную повязку. Новый Гулливер — это тот, кто наблюдает за оснасткой корабля — и в который раз готовится в плавание.

Приложение к Независимой газете - 1998 - 15 апр. - с. 2
Хитрое